

Элизабет БИШОП

МОРЕ И ЕГО БЕРЕГ

Перевод Ирины Машинской

От переводчика

Рассказ написан в 1937-м. Бишоп 26 лет, но у нее уже сформировался ее характерный стиль, тон. Язык и синтаксис настолько внешне просты, что кажется, текст может перевести и робот. В этом заключена для переводчика своеобразная трудность. Внешне очень ясный, прохладный, или намеренно «автоматический» синтаксис и словарь (термин из письма Марианны Мор по поводу, в частности, последней фразы о Рембрандте и слова «живописный»). В своем ответе Бишоп объясняет иронию, вообще важность тона и его едва заметную (может, быть «слишком тонкую», с сомнением пишет она) перемену внутри фразы.

Интонация в некоторых частях рассказа немного похожа на ее позднее стихотворение в прозе “12 O’Clock News”, где предметы на письменном столе предстают деталями военного ландшафта и описываются радиокомментатором. Вот и здесь: «Дадим пару примеров... и т.д.». Но, как и во многих стихах Бишоп, ткань текста чуть сминается здесь и там, происходят едва заметные подвижки, неловкости речи – и производят странный тревожащий эффект.

Моей задачей было передать этот временами негнувшийся, отстраненно-заинтересованный тон, не уходить в «интересный» или слишком живой язык, в удобную гибкую речь, вообще в «интересное». Для Бишоп характерны и ее не слишком заботят повторы одного слова в двух смежных фразах, а то и в одной. Пунктуация и синтаксис сохранены мной почти всюду, а неизбежные замены даны в свойственных Бишоп манере и ритме (например, используя ее точку с запятой).

Вторая важная особенность: в рассказе, по воле сюжета (протагонист – собиратель бумажного мусора) много обрывочных цитат: «Духовные упражнения Св. Игнатия Лойолы»; Генри Джеймс «Золотая Чаша», книга 4, Глава 3; стихотворение Китса “Bright Star”; строфа/канто из научно-религиозной поэмы-аллегории “The Purple Island” метафизического английского поэта начала XVII века Финеаса Флетчера (1582–1650); и, наконец, сноска 1 из главы III Biographia Literaria Кольриджа (в тексте упоминается и «Сказание о Старом Мореходе»). Все эти цитаты даны в моем переводе.

Ирина Машинская

Как-то на одном из наших больших городских пляжей одного человека поставили следить за чистотой песка, чтоб не валялись на нем бумажки. Для этой цели ему была выдана палка, или посох, с длинным отполированным проволочным гвоздем на конце.

Так как работал он только ночью, когда пляж пустел, ему был также выдан и переносной фонарь.

Остальную часть оборудования составляла большая проволочная корзина для сжигания бумаг, коробок спичек для разведения огня и дом.

Дом этот был очень интересный. Деревянный, со скатной крышей, примерно 4 на 4 на 6 футов, поставленный на воткнутых в песок колышках. Окна в нем не было, в дверном проеме не было двери, а внутри было совсем пусто. Даже метлы не было, так что периодически наш друг становился на колени и руками сметал песок, что сам наташил снаружи.

Когда прибрежный ветер становился уж слишком сильным или холодным, или же когда он уставал, или когда ему хотелось почитать, он сидел дома. Ноги тогда он либо высовывал на порожек, или складывал под собой внутри.

Дом этот был скорее идеей «дома», чем домом настоящим. Он мог бы поместиться на любом из двух концов спектра подобных идей. Он мог бы быть идеальным детским игровым домиком или идеальным взрослым – ибо в нем было устранено все то, что досаждало человеку в большинстве жилищ. Это было укрытие, но не для житья в нем, а для думанья. По отношению к обычному дому он являлся тем же, чем церемониальный колпак для размышлений является к обычной шляпе.

Разумеется, в соответствии с законами природы пляжу следовало бы, подобно кошкам, держать себя в чистоте самому. Нам всем доводилось наблюдать:

«Как воды совершают свой обряд
Людских берегов по кругу омовенья»

Но темп современной жизни слишком скор. Наши печатные станки выбрасывают слишком много покрытой шрифтом бумаги, каким-то образом добирающейся до наших морей и их побережий, чтобы природа могла сама позаботиться о себе.

Так что можно сказать, что господин Бумер, Эдвин Бумер, практически стал «священнослужителем».

Каждый день он шагал больше мили взад и вперед, с палкой и фонарем, и с картофельным мешком для сбора бумаги – живописное зрелище, в каком-то смысле напоминающее Рембрандта.

Эдвин Бумер жил самой литературной из возможных жизней. Ни один поэт, романист или критик, сгибающийся над столом по восемь часов в день, не смог бы представить такой интенсивной сосредоточенности на жизни букв.

Голова его, в облачке фонарного света, была постоянно наклонена вперед, в то время как глаза рыскали по песку или изучали найденные страницы и бумажные клочки.

Читал он постоянно. Плечи его были согнуты, и ему пришлось начать пользоваться очками вскоре после того, как он приступил к своим обязанностям.

Бумажки, которые с первого взгляда не казались особенно интересными, он бросал в мешок; те же, что собирался изучить, рассовывал по карманам. Потом, в доме, он разглаживал их на полу.

Из-за такой необходимости в различении, он в конце концов стал отличным судьей.

Порой он насаживал, один за другим, бесполезные или совсем пустые клочки на гвоздь, пока тот не переполнялся: от того, что можно было бы назвать рукоятью, до острия. В таких случаях гвоздь напоминал один из тех конторских предметов, какие прежде можно было видеть на столе беспечного врача или бизнесмена. Иногда он подносил спичку такой стопке и расхаживал с ней как с факелом, как если бы эти бумажки были его оплаченными счетами или теми огненными мясными блюдами, что называют кебабами и подают в русских и сирийских ресторанах.

Помимо чтения и возможности такого вот эпизодического освещения, куски бумаги, и особенно газеты, имели и другое применение. Зимой он мог оборачиваться ими под пальто, для защиты от холодного морского ветра. А еще, тоже зимой, раскладывая их на полу в несколько слоев, с той же целью. Где-то в ходе своего обширного чтения он узнал, что чернила, используемые при печати газет, уничтожают запахи; но не мог придумать, какую бы он мог извлечь из этого для себя пользу.

Ему были известны все сорта бумаги на всех стадиях волглости и сухости. Мокрая газета становилась всего лишь немного прозрачной. Она прилипала к ноге или ладони, и вместо того чтобы рваться, лишь медленно расплзалась на лоскуты – это зрелище он находил довольно отвратительным.

Если она по-настоящему набухала от морской воды, ее можно было скомкать в шары или другие формы. Однажды или дважды, будучи пьяным (а в таком виде Бумер являлся на работу несколько раз в неделю), он даже попробовал заняться эскизной лепкой. Но как только бюсты и фигурки животных высохали, он сжигал и их.

Газета желтела на свету быстро, уже за день. Иногда он находил беспечно оброненную позавчерашнюю, полусложенную, полускомканную. Поднося ее к фонарю, он замечал, еще прежде войн и убийств, пожелтевшие уголки белых страниц, и контраст между внешними и внутренними полосами. Совсем старые газеты становились почти что цвета песка.

В те ночи, когда Бумер был особенно пьян, море становилось бензином, чрезвычайно опасным. Он то и дело поглядывал на него через плечо, в паузе между прочитанными фразами; в такие ночи он сооружал свой костер подальше от берега. Море было блестящим, маслянистым и взрывоопасным. И тогда ему глупо казалось, что оно может воспламениться и уничтожить единственный источник его существования.

Ветренными ночами чистить пляж делалось трудней, и Бумер становился скорее охотником, чем собирателем.

Однако наблюдать полет бумаги было интересно. Он тщательно сопоставлял его с полетом птиц, что порой пересекали освещенный его фонарем круг.

Разумеется, птица, вдохновленная мозгом, давней традицией, желанием, которое часто можно было понять как стремление достичь какого-то места или чем-то завладеть, летела линейно или серией кривых, составлявших одну линию. Всегда была видна разница между ее методическим лётном в погоне за чем-то – и полетом напоказ.

Но у клочков бумаги не было ни различимой цели, ни мозга, ни чувства группы или расы. Они взмывали, падали, не могли решиться, сомневались, медлили, летели прямо к своей гибели в море, или, перевернувшись в воздухе, падали на песок и замирали.

Если и был у них любимый способ движения, то это было движение по косой, соскальзыванье вбок.

Они более тонко использовали воздушные течения и подчинялись им более причудливо, чем зачастую упрямые птицы. Своими трюками они не гордились, и, казалось, не осознают собственных храбрости и невинности, и не замечали Бумера, поджидавшего их, чтобы поймать на заостренной гвоздь.

Сгиб в середине больших новостных газет был в некотором роде позвоночником, но крылья работали неслаженно. Таблоиды летали немного лучше, чем полноформатные издания. Но маленькие скомканные клочки – вот что было самое удивительное.

Бывали ночи, когда воздух, казалось, был переполнен ими. Пьяному зрению Бумера буквы представлялись улетающими со страниц. Тогда он поднимал фонарь и посох и бежал, размахивая руками, и заголовки и фразы обтекали его, бежал, как человек, гонящий стаю голубей.

Когда он насаживал их на гвоздь, он думал о Старом Мореходе и Альбатросе, потому что, конечно, он неоднократно наткнулся на эту грозную поэму.

Больше всего ему удавалось сделать в безветренные ночи, когда у него оставалось несколько часов раннего утра для самого себя. Он усаживался с ногами крест-накрест в доме и вешал фонарь на гвоздь, вбитый на нужный ему высоте. Пoblёскивали занозистые стены; в крошечном доме тепло.

Его штудии можно было поделить на три группы, и он сам мысленно классифицировал их именно таким образом.

Первая, самая многочисленная: все, что, казалось, было о нём самом и его профессии, и любые относившиеся к ней инструкции и предостережения.

Вторая: рассказы о других людях, вызвавшие его интерес, о тех, за чьими карьерами он следил день ото дня по газетам и фрагментам писем и книг, и чьих дальнейших приключений ждал.

Третья: объекты, которые он не мог понять совсем, то, что его совершенно озадачивало, и в то же время интересовало настолько, что он оставлял их себе, чтобы потом прочесть. Эти он пытался – можно сказать, отчаянно – поместить вначале в одну, потом в другую из двух имевшихся категорий.

Дадим пару примеров из каждой группы.

Из первой: «Упражняющийся тем более извлечет духовную пользу, чем более удалится от всех друзей и знакомых и от всех земных забот, например, перейдя из того дома, где живет, в другой дом или комнату, с тем, чтобы в полной мере пребывать в уединении... (стерто) с большей свободой сможет воспользоваться своими природными дарованиями, направляя их к обретению того, чего он так страстно желает».

Это, конечно, было достаточно ясно.

Беспокоили же его такого рода предупреждения: «Привычку постоянно просматривать периодику можно с полным основанием добавить к каталогу АНТИМНЕМОНИК, или ослабителей памяти, Аверроэса. Как и «поедание незрелых плодов; разглядывание облаков и других движущихся, подвешенных в воздухе вещей (это к нам относится); верховую езду в большом стаде верблюдов; частый смех (нет); выслушивание большого количество шуточек и анекдотов; привычку читать надгробные надписи на церковных кладбищах, и т.д.» (А вот это последнее – может и да).

Из второй категории: «Она спала около двух часов и вернулась на свое место в яму вместе с американским флагом, который она водрузила рядом с собой. Ее муж принес ей еды, и она объявила, что собирается сидеть в этой яме, пока Компания социальных услуг не откажется от идеи установить тут столб».

Бумер размышлял об этой даме две ночи. На третью он нашел следующее, что, на его взгляд, несколько проясняло ситуацию. Это был кусок страницы из какой-то книги (в то время как первый объект был клочком газеты).

«Ее светлость предполагала, что в любой момент жизни у нее было некое преимущество перед другими – это делало ее прелестно мягкой, почти щедрой; так что она особенно не отличала выпуклых глазок социально более низких насекомых, часто наделенных таким широким спектром, от ...»

Могло пройти еще две ночи, или две недели, прежде чем он находил следующую ступень в этой последовательности.

В третьей группе, куда входили вещи одновременно завораживающие и озадачивающие, сохранялась им всякая всячина вроде, например, такого (небольшой не порванный розовый листок):

«ШУТОЧНЫЕ ОЧКИ С ПОДВИЖНЫМИ ГЛАЗАМИ. Наденьте очки и поместите мундштук в рот. Периодически вдыхайте в себя воздух; глаза и брови при этом будут подниматься и опускаться. Движение может производиться медленно или быстро в зависимости от желаемого эффекта. Если наушники слишком короткие в случае большого

размера головы, измените кривизну изгиба за ухом. Целлулоид легко воспламеняется! Вследствие этого не подносите ваши очки близко к открытому пламени!!»

Это явно было из категории предупреждений, относящихся к нему самому. Но если он мог прислушаться к последнему предупреждению, в инструкциях выше многое было ему непонятно.

И вот это, карандашом на почтовый бумаге, смазанное, но различимое:

«Я плохо себя чувствовал по поводу моих зубов, и у меня вырвали три больших зуба, ибо они делали меня нервным и когда-то больным, и по этой причине я не мог послать вам мой урок хотя я собираюсь быть в состоянии писать как все эти Авторы, ибо я полагаю этого больше в моем уме, чем любой другой работы, ибо я концентрируюсь на уроках, часто, много раз.

Г-н Маргулис, я думаю о том как все те Авторы писали такие длинные истории по 60000 или 100000 слов в тех журналах, и где они берут свое воображение и материал.

Я был бы весьма доволен писать такие истории как те Писатели».

Хотя у Бумера не было такого детского желания, он считал, что поставленный вопрос имел какое-то отношение и к его собственному образу жизни; он едва ли не относился к нему не меньше, чем к неведомому г-ну Маргулису. Но каков был ответ? Чем больше он собирал бумаг и чем больше читал, тем меньше, казалось ему, он понимал. В каком-то смысле он зависел от «их воображения», и даже был его рабом, и в то же время считал это некоей болезнью.

Приведем еще один пример загадок нашего друга, из тех, что он загадывал себе самому. Вот это, грязным шрифтом на очень старой коричневой бумаге (он не делал различия между недоумениями, вызванными прозой и загадками поэзии).

«Как в одноглазой комнате, что тьмой
Завешана, с одной лишь стороной,
Что глазу супротив одна дает
Движенью света узкий тесный вход,
Сияньем белым гобелена устлана,
Десятки форм врываются, теснясь,
Сквозь узкий створ случайною толпой;
На ярколицей той стене резвьась,
Ведут мерцающий неясный танец свой»

Это звучало как что-то из того, что он уже испытал сам. Вначале его дом казался ему «одноглазой комнатой, что тьмой завешана», а потом это уже была уже вся его ночная жизнь на берегу. Вначале летающие по воздуху куски бумаги, а потом то, что было на них напечатано, являлись теми «десятками форм».

Надо ли объяснять, что к моменту, когда он был готов приступить к чтению, Бумер был уже не особенно пьян. Алкоголь уже выветривался. Он все еще чувствовал себя изолированным и значительным, но при этом неестественно бодрым.

Но что все это значило?

Оттого ли, что насекомые армии шрифта с таким постоянством осаждали его зрение, или потому что это действительно так и было, мир, весь видимый ему мир довольно скоро тоже стал казаться напечатанным на бумаге.

Бумер поднимал фонарь и следил за тем, как береговой кулик рассеянно мчался то в одну, то в другую сторону. Его утомленному зрению он казался знаком препинания на фоне «округлых, катящихся волн». Его лапки оставляли тонкие следы. Перья были пятнисты; и на

узких кромках крыльев виднелись отметины, которые могли бы оказаться и буквами, если бы только он смог подойти достаточно близко, чтоб их прочесть.

Иногда люди, посещавшие пляж днем, и которых он никогда не видел, считали нужным оставлять записи на песке. Бумер, со своей стороны, полагал, что стирать эти письма также входило в его обязанности. Опустив фонарь, он тщательно уничтожал «Школу Франсиса Хавьера», «Лириан» и «Какого черта».

И сам по себе песок, когда он брал горсть и подносил к одному глазу, казался типографской печатью, перемолотой или пережеванной.

Но лучшей частью его долгих усердных ночей был момент, когда, очистив отведенное ему пространство, он приготавливался поджечь бумагу, затолканную в проволочную корзинку.

Его лоб уже был горяч от алкоголя или от чрезмерного чтения, но он вставал как можно ближе к лихорадочному жару горящей бумаги, с воодушевлением отмечая малейшие детали кремации.

Пламя подымалось по бумажной полоске равномерно, неспешно, и через секунду почерневшая бумага сворачивалась, вверх или вниз. Она падала, скручиваясь в формы, порой казавшиеся чугуном литьем, но потом разваливавшиеся от одного дуновения.

Большие хлопья почерневшей бумаги, все еще вспыхивающие красным по краям, улетали в небо. Он следил, сколько мог, за их полетом; никогда раньше он не видел таких замысловатых, трепещущих маневров.

После чего оставались хрупкие листы пепла, белые, как изначальная бумага, и мягкие на ощупь, или пучок серых перьев, похожих на перья цесарки.

Но так или иначе, все должно было в конце концов быть сожжено. Сожжено абсолютно всё, даже загадочные клочки, которые он таскал с собой по неделям и месяцам. Сжигание бумаги было родом его занятий, которым он зарабатывал себе на пропитание, но главное, он не мог допустить переполнения карманов или захламления своего дома.

При том, что он любил огонь, Эдвину Бумеру не нравилась его неизбежность. Оставим же его в его доме, в четыре часа утра; чтение уже выбрано, сожжение завершено, ясно горит фонарь. Чрезвычайно живописная сцена, в чем-то похожая на Рембрандта, но во многом и нет.

1937

Перевод: 2025